

Виталий Масюков

ВЕЛИКИЙ КОНКИСТАДОР

(маленькая повесть с претензией на притчу)

В легких опаловых сумерках, у моря, у самой мерно-подвижной кромки слабого прибоя, на валуне сидит человек. Он слушает и молчит. А море говорит, говорит.

Говорит глуховато, неторопливо, с паузами. Говорит, как патриарх, с одинаковой философски-ровной тональностью – о трагических, комических ли эпизодах.

—

«...С юности он был беден, как может быть беден сын сумасбродного и оттого вконец разорившегося идадьго.

Да, он был очень беден и очень, непомерно горд и, как следствие, - нелюдим. Вот и выбрал для прогулок этот пустынный берег, где бывал пешком, проезжал на коне, а то брел ведя коня в поводу, надменно отвернув голову от земных красот и соблазнов, уставясь на дальний парус. Вечно полуголодный конь понуро шел за хозяином, косясь на редко торчащую меж камней, малосъедобную прибрежную травку.

Единственным человеком, с кем он общался в ту пору, был герцогский садовник.

Обернись, погляди – прямо за твоей спиной, на холме, где теперь пансионат, стоял когда-то герцогский замок. Еще каких-нибудь сто лет назад там бурели его руины...

Нет, герцог жил в городе – там, на старой музейной площади и ныне поражает туристов своей вычурной красотой дворец бывших местных властителей.

Сюда, в свой загородный замок, герцог наезжал лишь изредка. К стене замка, как раз с этой стороны, примыкал сад. Был этот сад небольшим и чахлым, пока за него не взялся новый герцогский садовник, пришлый старик – высокий, костлявый, с обветренным, в резких морщинах лицом, нос ясными, словно свежепромытыми родниковой водой, глазами. Этот странный, верней, странно упорный старик что ни год, что ни месяц, что ни день приращивал сад. На мулах подвозил плодородную землю, воду в бочках, увозил камни, гальку. В конце концов, его насаждения укоренились на ломаной линии, куда докатывался авангард девятого вала в сильный шторм.

Утомившись, старик обычно выходил на берег и присаживался, как ты сей час.

Отнюдь не с первой встречи они разговорились, трудолюбивый старый садовник и молодой, вечно праздный идадьго. Первое время старик спокойно взглядывал на подходившего и продолжал себе сидеть в отрешенном молчании. А гордый юноша, подходя и шагая мимо, даже не взглядывал на старика. Но бывает так с неоднократно встречающимися замкнутыми людьми, что первые же наконец произнесенные и вроде пустые слова неожиданно располагают их друг к другу.

Странную, на взгляд со стороны, составили они пару. И не только из-за явной разницы в одежде и возрасте. Порой старик и юноша вели себя так, что окажись поблизости невольный наблюдатель, у него наверняка бы возникли сомнения: в здравом ли они рассудке?

Так, однажды они учинили здесь, на берегу, несообразный турнир. Молодой идадьго вооружился двумя длинными ивовыми прутами, старый садовник – длинным и коротким. Схватка с краткими передышками продолжалась более часа. Идадьго наносил удары и парировал оные то правой рукой, то левой, стоя к противнику то правым, то левым боком, а то и открытой грудью. Садовник фехтовал правой рукой, а левой с коротким прутком (заменявшим по всей вероятности кинжал) лишь изредка и, казалось в последний миг отбивал удары условного, но тем не менее яростно атаковавшего врага. Если неуместный, достойный осмеяния боевой пыл идадьго все же можно было оправдать избытком молодых сил, то воинственность старого садовника, все эти исполненные им явно в охотку выпады, отскоки и уклоны – как и чем было оправдать? Тем более, как и чем было объяснить ту очевидность, что бедный старик оказался столь искусным в дворянском ремесле?

Однако, несмотря на утраченные с годами ловкость и навыки фехтования, старый садовник был трижды побежден. И вновь труднообъяснимое: после третьего, последнего «укола» старик явно одобрительно покрутил головой и, весело глянув на удачливого противника, сказал:

- Виват!

А победитель, опираясь на прогнувшиеся прутья, с королевской гордыней возгласил:

- Я прав! Да и как иначе? Господь дал людям по две одинаковых руки, но из-за людской лени только одна из них становится ловкой и умелой, а другая – черт те что... Продолжим? Ну, пусть не сегодня...

Но взгляд старика как-то вдруг погрустнел, он на этот раз явно отрицательно покачал растрепанными сединами, отбросил свои разновеликие палки и устало, невесело улыбнулся:

- Пусть песок занесет мое оружие. Я – садовник.

Да, несообразный этот поединок оказался первым и последним. Вообще со временем они стали чаще встречаться не на берегу, а в саду. И порою гордый молодой идадьго, прислонив к стволу фамильную шпагу, и повесив на сук засаленную изнутри шляпу, орудовал лопатой или мотыгой – разумеется, под надзором седого приятеля.

Веселым, кстати, надзором...

И вот однажды, забредя в сад, чтобы повидать старика, наш молодой идадьго увидел ее, вздремнувшую на атласных, расшитых подушках, в беседке. Самые прекрасные цветы срезал он шпагой и положил рядом с ее лицом: то ли чтобы убедиться, что лицо ее прекрасней, то ли чтобы ей спокойней спалось в своем кругу...

Проснувшись и увидев незнакомца, красавица не испугалась и не возмутилась. Напротив – улыбнулась лучезарно. И не цветам возле, а восхищению и благоговению в устремленном на нее взгляде. Она спросила, кто он. Потом он помог ей подняться с такой неуклюжей учтивостью и опять же благоговением, что улыбка, не сходящая с ее уст, стала еще лучезарней, и она назвала ему свое имя. Потом подошла служанка, и он, было поникший, услышал от прекрасной, рано

овдовевшей сеньоры, что может навестить ее, скажем, в конце недели, а в ее городском особняке.

И он, конечно, навестил ее. С великолепным букетом, что в том веке не было принято. Да, да, принято было подносить избранницам драгоценности, кареты, поместья... Однако донна Изабель (так звали молодую знатную вдову), казалось, была искренне рада цветам.

Встреченный счастливым сиянием ее прекрасных глаз и улыбки, наш юный бедный идалго не долго сдерживался и излил свои чувства в речи пылкой и сумбурной. Увы! Еще нестерпимей засиявшая Изабель, чуть помешкав, с кротостью произнесла, что все еще скорбит по безвременно умершему супругу.

Юный гордец даже побледнел от взметнувшейся в груди ревности к покойному незнакомому дону! И бледнел он, и пламенел, и восклицал излишне громко, и запинаясь нехотая, однако достиг для первого свидания немало: поцелуя и чарующей улыбки на прощание.

Его надежды на будущее, то есть на предстоящее свидание, когда он размашисто шагал по улице, были упоительно радужны, хотя без какой-либо определенности.

Зато в действительности их свидания, благодаря Изабель, будут отличаться как раз определенностью. Он будет являться только по вторникам и пятницам, только после полудня, целовать только в первые минуты руки избранницы и, наконец, на прощанье – только на прощанье и только один- поцелуй по сути безответный - в прельстительную, сияющую, торжествующую улыбку...

Как мало было нашему влюбленному этого поцелуя, как мучительна была разлука с вторника до пятницы и с пятницы до следующего вторника! Но все попытки нарушить установленный Изабель распорядок вызывали ее недовольство. А недовольство любимой, обожаемой, боготворимой (хотя и такой желанной) Изабель было для него – как лезвие секиры!

И прежде нелюдимый, гордый молодой идалго, казалось, вовсе одичал, избегал даже единственного друга. Теперь бывали дни, когда им и словом перемолвиться не доводилось. И стоя в тени своих крайних деревьев, старый садовник пристальным и печальным взглядом провожал удаляющуюся к скалистому мысу высокую знакомую фигуру.

Да, вот к этому мысу, который и пятьсот лет назад был таким же сумрачным и диким, правда, без выбоин от снаряда...

Так вот там, укрывшись в гранитной расщелине от белого света, влюбленный идалго и определил, как ему казалось, свой единственный путь, свою судьбу, там, где под аккомпанемент прибоя он дважды отрепетировал решительное объяснение с любимой. И вот что он дважды выкрикнул на ветер, чтобы не сбиться в третий раз среди витых колонн и расписных штор:

- Я так люблю тебя, Изабель, так хочу, чтобы ты была счастлива, что мечтаю поместить тебя в кокон из солнечных лучей и цветов, а кокон спрятать в своей груди, чтобы ничто темное и злое не коснулось тебя! Но это лишь красивая мечта... Я беден и не могу подарить любимой даже булавки. Но клянусь, ты будешь счастливой! Я отправлюсь за океан и добуду богатство и славу! Два года в трауре по мужу ты сторонись любви, подожди еще год... Один год!

И вот с этим дважды отрепетированным объяснением, в тайне от себя восхищаясь его началом, явился наш влюбленный в урочный час под столь волнующие своды. Его не насторожило, что служанки, обычно встречавшие улыбками, выглядели на этот раз странно серьезными, даже будто растерянными. И прежде чем увидеть свою ненаглядную, он услышал ее голос:

- Я должна быть возле него! Я, а не эта старая жаба! Он страдает, а меня нет рядом!

И другой женский голос, увещательный, приторный:

- Но, дорогая Изабель, около него лучшие врачи.

И опять надрывный голос его любимой, приближающийся, режущий уши:

- Знаю я этих угодливых шарлатанов! Без меня они изведут его! Стравят!

И тут он увидел ее – с бледным, будто потяжелевшим лицом, остановившимися глазами, всю какую-то съежившуюся. Она шла ему навстречу, мельком и неприязненно взглянула, едва кивнула и – мимо, продолжая выкрикивать:

- Я должна быть рядом! Должна! Переоденусь служанкой! Лекарем! Астрологом! Шутом! Кем угодно!

Идущая следом с поджатыми губами молодая сеньора взглянула на остолбеневшего нашего идальго с любопытством, даже весело и произнесла торопливо:

- Уверю тебя, дорогая, герцогу и в голову не придет, что ты ему изменяешь, пока он прикован к постели...

С тем обе сеньоры и скрылись в смежной комнате, а незадачливый влюбленный, стерпев, как ожоги, взгляды прислуги, повернулся и с пылающими щеками надменно прошествовал вон.

«Тупица! Слепец! Баран! – честил он себя по дороге. – Ведь слышал в уличной тропе, что герцог упал с лошади и расшибся и подумал еще: «Ездил бы в карете, тюфяк...» И не вспомнил, не подумал, почему это Изабель спала в герцогском саду на атласных подушках? Не вспомнил глухо сказанное старым садовником, когда вместе составляли букет: «Донна Изабель в этом саду не в первый раз...» и взгляд старика – будто он ждал расспросов. Не расспросил. Почему?! Лишь стал избегать друга...о баран!»

И в смятении чувств отправился молодой идальго к портовым шлюхам, и спал с ними – с одной, второй, третьей, четвертой и целовал некоторых из них вдобавок, приводя этим действием в замешательство. И между своими любовными упражнениями он трижды ссорился с каким-то сбродом, и был столь свиреп, столь молниеносно выхватывал шпагу, что, если бы не трусоватость или конечное благоразумие противников, могли бы быть смертельные исходы...

А оставаясь на краткое время в одиночестве, он называл шлюхою ту, которую мечтал поместить в кокон из лучей и цветов...

Трое суток он в полном смысле не находил себе места и, лишь оказавшись вновь на скалистом мысу, вспомнил, как поклялся здесь, что Изабель будет счастливой. Вспомнил и устыдился. Пусть рядом не было никого, но он-то сам слышал свою клятву! Значит, Изабель должна быть счастливой. Только вот счастье ее – герцог...

Назавтра он пошел к мессе, надеясь услышать в толпе о здоровье герцога и услышал, что тот быстро поправляется и скоро вновь сядет на коня.

А еще через день ноги сами принесли несчастного влюбленного в ту роковую беседку. И тут загнанная было в глубь ярость вырвалась наружу – несколькими ударами шпаги вспорол он красочно расшитые подушки! И неожиданно обессилев, впервые после долгих бессонниц крепко уснул, тут же, на полу, возле растерзанного ложа...

Проснувшись, он услышал невдалеке голоса, женский и мужской. И вновь вначале не узнал голос Изабель, такой на это раз он был звонкий и веселый. Узнал голос лишь когда она произнесла его имя. Оцепенев, он слушал, как она весело рассказывает спутнику о неожиданной встрече в беседке, о том, какой потешный, какой глуповатый вид был у юного незнакомца. Затем, после паузы, он услышал, как с лукавой интонацией Изабель посетовала, что вот давно-де мечтает иметь пажа, юного, глупого, боготворящего ее, да видно, недостаточно знатна и богата... В ответ мужчина пошутил, что разрешит-де иметь ей пажа лишь старше его самого, лет этак пятидесяти... («Герцог!» - с опозданием догадался наш бедный идадьго). Невидимые им мужчина и женщина посмеялись, а потом... потом у юноши так застучало в ушах, что он и слова полностью не воспринимал, лишь смысл слышимого: молодой дурачок, то есть он – он! – так беден –де, что даже букеты вынужден срывать в чужом саду...

И тут наш идадьго, давно уже вскочивший с пола, бросился было в ярости на голоса, чтобы стократно унижить соперника, да вовремя увидел, что его камзол сплошь в пуху из проклятых подушек!

С унижительной торопливостью покидал он сад, утешаясь тем, что схватиться один на один с сорокалетним герцогом было бы недостойно и мелко. Нет, надо улучшить такой момент, думал он с упоением, когда герцог будет в окружении молодых телохранителей и клеветов, и чтобы она обязательно была вблизи! И вот тут-то разбросать свиту, выбить у герцога шпагу, согнуть ее одной рукой в дугу и швырнуть к ее ножкам: утешь, мол, своего возлюбленного старичка! Так, пылая, наш ревнивец дошагал до скалистого мыса и, укрывшись за гранитными глыбами, принялся очищать камзол от пуха. А поскольку это занятие несовместимо с разгоряченностью, то он волей-неволей постыл и вновь вспомнил о своей клятве.

Назавтра незадачливый наш идадьго снова пришел в сад, но уже для того, чтобы проститься с другом-садовником. Старик, похоже, ждал его, приготовив корзинку с бутылками вина и снедью.

Они вышли на берег. Валун побольше послужил им столом, валуны поменьше – сидениями.

Бутыли скоро опустели, но собутыльники не стали оживленней и многословней. Видимо, оба были из материала, не поддающегося всесильному, вроде бы, хмелю. Разговор, неспешный, скупой и прерывистый, велся и заокеанских странах. После длительной паузы старый садовник неожиданно сказал, медленно, как бы самому себе:

- Донна Изабель любит герцога за то, что он - герцог. Красивая женщина, донна Изабель. И красивой женщине мало, что мужчина молод и пригож, мало, что он нежен и мужественен, мало даже, что он богат и прославлен... Ее, красивую женщину, восторгает, сводит с ума лишь возлюбленный, наделенный властью.

Ибо имя красивой женщины – тцеславие.

Спокойно выслушал старика молодой идалго, поднялся, постоял несколько мгновений, еле кивнул и ушел. Да, не сказав доброго слова на прощание. Бездушно поступил? Наверное. Тем более, что его седой приятель вскоре умер. Зачем ему было жить? От сада его герцог отлучил – не простил распоротых в беседе подушек...»

Тут море смолкает, очевидно, досадуя на недавно возникший и усиливающийся гул. «И это всё? – разочарованно спрашивает человек, потом вскидывает голову, провожает взглядом бортовые огни самолета на западном небосклоне, шевелится, но не встает, понимая, что продолжение следует.

«В то давнее-давнее утро не покачнулась вдруг ни с того ни сего каравелла, не кричали по-особому чайки, не всплыл среди бухты кит, не было никакого знамения. Лишь лохматый матрос, месяц назад списанный за дебош на берег, однако ухитрившийся наняться на данный рейс, так вот этот матрос, словоохотливый от удачи мельком глянул на дико орущего капитана и обнадежил товарищей: С таким весело будет!» и тут же, кивнув на высокую сумрачную фигуру у борта, предостерег: « А кто к этому пойдет под начало – наплачется. Зверь!» Непутевый матрос был единственным, кто заметил отплытие нашего идалго от родных берегов.

И прошел год, и два, и три года прошли, и пять и семь. Не стало последних родственников отпывшего в неведомую даль молодого идалго: тетя умерла от оспы, двоюродный брат утонул, и никто в родном городе не произносил даже походя, к случаю имени его.

А город богател, рос и вширь и ввысь. Донна Изабель, которая неожиданно для себя и других стала обожаемой родственницей таинственных, никем, ни разу не увиденных, но сказочно богатых негоциантов, жила теперь во дворце, превосходящем своим великолепием герцогский. Правда, теперь земляки были не так почтительны к ней, не стремились так упорно попадаться на глаза, не досаждали различными просьбами, как в ту пору, когда герцог пылал к ней страстью нежной. Зато теперь при ней постоянно был паж – юный, глупый и боготворящий. Если же паж вырос, умнел и был уличен в ереси, он быстро заменялся другим, полностью соответствующим критериям госпожи.

О герцоге донна Изабель говорила легко, даже чуть снисходительно, при упоминании его нынешней любовницы не бледнела, их размолвками не интересовалась, зато живо интересовалась покупками герцога, причем как совершёнными, так и предполагаемыми. Скажем, услышит она, что герцог приобрел рубиновое ожерелье, и немедля закажет ювелирам более ценное. А прослышит, скажем, что герцогу приглянулась раззолоченная карета, тотчас пошлет дворецкого, чтобы заполучил оную не торгуясь.

Герцог воспринимал подобные эскапады бывшей пассии спокойно, посмеиваясь, попытки своей последней любовницы устраивать по таким поводам сцены пресекал решительно...

Короче, выходило так, что для безумно любимой, для счастливого соперника, тем паче для остальных земляков бедный молодой идалго – что был, что не был.

Да, так было, но оказалось, было до поры.

Ибо на восьмой год со дня отплытия безвестного юноши в родном городе повсеместно зазвучало его имя. О нем заговорили громко, восторженно – как о необычайно смелом, умелом, всегда удачливом и потому прославленном офицере.

С каждой причалившей каравеллой эти разговоры вспыхивали и распространялись, подобно огню. Порой срывались в крик и бурно жестикулируя, горожане пересказывали друг другу захватывающие дух боевые эпизоды, в которых их земляк был главным и, конечно же, героическим участником. Особенно часто пересказывались воспоминания некоего ветерана. Как в горячке боя он будто увидел вблизи...четырехрукого (шестирукого – в другом варианте) соратника! Будто тот наносил молниеносные разящие наповал удары четырьмя (шестью) клинками! И как после боя он, ветеран, искал невероятного воина, как нашел, и увидел, что у того – увы – всего две руки, как и у прочих смертных. Однако, в отличие от прочих, по бокам – две тяжелые шпаги (два длинных меча – в другом варианте). И как он, ветеран, понял, что молодой офицер орудовал в бою двумя шпагами (мечами) с такой неистовой быстротой, что поневоле казалось, будто их четыре (шесть).

Если раньше о далекой конкисте горожане говорили редко, то теперь в свете разгорающейся славы земляка в городе только и было слышно о заокеанских событиях.

А события эти скоро окрасились в темные, тревожные тона: генерал-губернатор якобы скоропостижно скончался, а по слухам то ли был убит, то ли отравлен.

Поговаривали даже, что он похищен и превращен местными колдунами в золотого идола...

Дальнейшие известия из-за океана были еще более зловещими. Вице-губернатор исчез за день до прихода королевского указа о его назначении на пост генерал-губернатора. Долгое следствие не дало результата: бывший вице-губернатор – как растворился. Тут уж однозначно заговорили о колдовстве.

Тогда из столицы за океан, прихватив святые мощи, отплыл новый генерал-губернатор и...как оказалось, лишь затем чтобы там, в дальней дали, покаяться (не иначе, мощи проняли злодея) в кознях против короля и святой церкви...

Все эти перипетии растянулись на два года к удовольствию жителей прибрежного города: они знали, что в отсутствии генерал-губернатора всеми заокеанскими территориями и огромной армией управлял их молодой, но уже прославленный земляк.

Еще более были довольны простые горожане, если бы знали то, что знали столпы города: протокол с признаниями последнего злокозненного генерал-губернатора доставила королю из-за океана делегация, в которую вошли самые достойные военачальники, капитаны и negociанты. И будто бы им было сказано, что нынешний временный командующий, хотя и молод, но весьма добрый католик и постоянно возносит молитвы о благоденствии своего короля, и что усердие и рвение, с каким он молится, сравнимо разве что с усердием и рвением, с каким армия молится о здоровье и бодрости своего молодого командующего, называя его не иначе как Великим Конкистадором.

Не без оглядки, так и эдак обсуждали архиепископ герцог и старший алькальд эти будто бы прозвучавшие в королевских покоях дерзкие слова: с одной стороны, заокеанские гордецы, глупцы ли – пожива для Священного трибунала, с другой стороны, король к старости подобрел, и, наконец, с третьей стороны, за последние два года там, за океаном, была завоевана территория,

большая, чем за предыдущие пятнадцать лет, да и каравеллы с золотом причаливали к родным берегам не в пример грузней и чаще – эти два обстоятельства трудно было переоценить...

То, что было известно верхам города, то, что так волновало их, то, что они раз за разом обсуждали, то неминуемо, хотя и постепенно просочилось, дошло до низов, и поэтому королевский указ о назначении их земляка генерал-губернатором всех заокеанских владений горожане восприняли без удивления, как давно и с гордостью ожидаемый.

А что же донна Изабель? До нее, конечно, доходили и первые слухи о беспримерной храбрости бывшего воздыхателя и, конечно же, она узнала об ослепительном взлете его. Однако какого-либо волнения, пресловутого кусания локтей близкие ей люди не заметили. Почему?

Может, потому, что до нее несомненно дошли побочные, однако для женщин особо интересные слухи: мол, как в бою Великий Конкистадор использовал две шпаги, так и в постель свою брал двух любовниц, причем прекрасных любовниц туземной царской крови...А скорее всего, донна Изабель выглядела спокойной потому, что уж слишком много городских красавиц, притом из разных сословий, выказывали волнение при упоминании ее тайного воздыхателя. И некоторые красавицы – да и не только красавицы – давали понять, что Великий Конкистадор удостаивал их, бывало, более чем пристальным вниманием. И смех и грех! На свою любовную связь с уплывшим десять лет назад земляком порой намекали шестнадцатилетние девицы! В городе поговаривали даже о детях от Великого Конкистадора... В такой ситуации что оставалось донне Изабель? Быть безмятежной, улыбочиво спокойной. Тем более что когда-то пламенно влюбленный идалго теперь далеко-далеко. Вот если бы он вернулся, тогда...

А годы шли, шли и шли. Теперь, когда среди сходящего с причалившей каравеллы шумного и веселого экипажа толпа случалось выделяла мрачных увечных ветеранов и подступала к ним с расспросами, то из скупых солдатских ответов явствовало, что нынешний генерал-губернатор так же естественен, уместен на своем посту, как солнце на небе, и так же, как солнце будет завтра, через год, через десять лет, всегда, но что самое удивительное, в ответах ветеранов сквозила уверенность, что он, Великий Конкистадор, и был всегда – не было никаких других вождей...

И вскоре земляки Великого Конкистадора, особенно простые горожане, прониклись ощущениями ветеранов и никто ни в каком разговоре не называл тот год, и тем более тот день, когда от родных берегов отплыл безвестный молодой идалго. И когда по городу пронесся будоражающий слух, что Великий Конкистадор возвращается домой, то не нашлось среди горожан того, кто воскликнул бы: «А ведь скоро исполняется ровно двадцать лет, как он отплыл!». Горожане посерьезней вообще отмахивались от этого слуха, как от мухи: мыслимо ли оставить огромную армию без любимого полководца, а государство без постоянного мощного притока золота?

Однако, когда на виду у всех оказалась загадочная каравелла, даже самые здравомыслящие из горожан начали поговаривать, что, мол, возможно и то, во что поверить трудно: Он вернется...

—

Тут повествование моря вновь прерывается. Но человек, сидящий на валуне, как ни вслушивается, не может услышать ни гула самолета, ни других неожиданных звуков – лишь привычный постоянный, смутный шум отдаленного порта... Тогда человек решает напомнить о себе: «Я жду. Жду продолжения». И продолжение следует.

«Эта каравелла вошла в бухту на закате и бросила якорь вдалеке от пирса.

Собравшиеся утром на берегу горожане простояли в недоумении до полудня – судно оставалось неподвижным, на нем никто не суетился и не пытался спустить лодку на воду.

Когда в полдень алькальды поднялись на борт каравеллы, то не обнаружили ни золота, ни серебра, ни... команды. Их встретил лишь вахтенный матрос, немой, и по всей видимости, придурковатый – в ответ на все вопросы он лишь показывал, как когда-то скакал или надеется скакать на коне...

К вечеру по городу поползли слухи, что старший алькальд поочередно навестил архиепископа и герцога, и что трое самых умудренных, самых могущественных мужей думают по поводу загадочной каравеллы тоже, что и простые горожане: возможно, он впрямь вернется, Великий Конкистадор!

И точно, через полторы недели, ясным утром, эскадра из восьми судов показалась в синей дали.

Скоро каравеллы вошли в бухту, и мигом набежавшая восторженная толпа наблюдала, как с первого пришвартованного судна сошли люди с топорами и прочим плотницким инструментом. Они принялись исследовать далеко выдвинутой в море пирс, не отвечая на вопросы наиболее бойких горожан и свиты старшего алькальда, незамедлившего явиться на берег.

Наблюдая эту сцену, старший алькальд выглядел озабоченным, а вскоре и вовсе помрачнел, поняв, что его желание скорейшей встречи с Великим Конкистадором неважно. И с этим пониманием к старшему алькальду пришли раздражение и злость, и он крикливо потребовал от своих подручных, чтобы они не прохлаждались как зеваки, а быстро доставили его на флагманский корабль.

Когда через час немного посветлевший старший алькальд возвратился, на пирсе кипела работа: что-то укрепляли, что-то заменяли, что-то вновь прилаживали.

Горожане на берегу были единодушны во мнениях: Великий Конкистадор опасается, мол что пирс не выдержит тяжести доставленных на сей раз сокровищ.

А старший алькальд, меж тем прямо на берегу продиктовал депешу в столицу, после чего направился в герцогский дворец. Проговорили достойные мужи недолго.

Чиновник поспешил к архиепископу, а герцог прилег на софу – подумать. «Каков он из себя, Великий Конкистадор? И неужели он – действительно тот безответно влюбленный в Изабель юноша? Жаль, не довелось его тогда увидеть - так не впервые удивленно и обеспокоенно думал герцог. – А ведь он наверняка узнал о нашей связи. Что если злопамятен? Да нет, пустое. Он теперь на такой высоте... Что ему амурные забавы?

Наш прожженный алькальд прав. Слава, слава и только слава. Вот что ненасытно жаждет этот конкистадор. А сказать по чести, разве он недостоин самой громкой славы? Клянусь, достоин! И по крайней мере в родном городе ему воздастся...» С этим герцог и задремал.

Во второй половине дня на площади, что перед причалом, тоже затюкали топоры – там спешно сооружали помост.

Лишь к вечеру узнала донна Изабель о возвращении Великого Конкистадора. Хотя мирок ее дворца, с утра взбудораженный новостью, был явно оживленной, говорливой обычного, донна Изабель не поинтересовалась причиной этого, она держалась, как всегда, более отстраненно, чем просто госпожа, и поплатилась за это: узнала последней о возвращении знаменитого человека, с которым как-никак была близко знакома, в отличие от прочих.

Отослав служанок и пажа, донна Изабель подошла к зеркалу. И как придирчиво она ни разглядывала свое отражение, не могла сказать, что красота ее начала блекнуть, но та, двадцатилетней давности Изабель, выглядела предпочтительней. Да, все ее сверстницы либо растолстели, или усохли, или вовсе скукожились, но над ней время не властно!

Донна Изабель лучезарно улыбнулась своему отражению. «А что, возможно, он был прав, - привычно подумала она, - этот старый сластена, этот распутник, герцог, когда сказал: «ты слишком красива, слишком сладка, Изабель, чтобы долго любить тебя...». Возможно, прав. Наполовину. Потому что оставил ее, когда наконец осознал, что необратимо тускнеет, дряхлеет и выглядит рядом с ней, прекрасной, цветущей, все нелепей и нелепей. А выглядеть в чьих угодно глазах скверно, тем более нелепо и смешно – это для него хуже смерти! Уж кто-кто, а она знает своего бывшего возлюбленного!

Тут донна Изабель спохватилась, что думает не о том, о ком надо бы сейчас думать, и отошла от зеркала. «Как выглядит теперь, двадцать лет спустя, тот восторженный юноша? Интересно будет взглянуть, - довольно спокойно подумала она, попыталась вообразить облик зрелого сурового мужчины и не смогла. Потом она постаралась вспомнить давний юношеский облик, но в целом он предстал нечетким, расплывчатым, ясно вспоминались лишь глаза. Да, пожалуй... Пожалуй, ничьи влюбленные глаза не светились таким восхищением, благоговением, как глаза того, кого теперь называют Великим Конкистадором.

На следующее утро горожане, нарядные и веселые, стекались к порту. Всех будоражило предвкушение праздничного действия, правда каким оно будет, это действие, в чем выразится – большинство не ведало. Но, как всегда в этих случаях, в толпе нашлись люди, уверенные в своей осведомленности. Они непререкаемо заявлял, что праздник начнется на портовой площади, где архиепископ, герцог и старый алькальд произнесут речь в честь Великого Конкистадора. Затем ответное благодарное слово скажет сам виновник торжества. А уж затем, мол, Великий Конкистадор в окружении знатных людей города прошествует в герцогских дворец, к пиршественному столу, а его солдаты вкупе с простым горожанами расположатся вокруг дворца, где также будет выставлено обильное угощение.

Как ни заразительно, как бы ни всепоглощающе было предвкушение праздничной встречи великого Конкистадора однако многие из последнего вливающегося на портовую площадь потока горожан обратили – и довольно живо – внимание на прекрасную сеньору, которая в сопровождении дуэньи грациозно двигалась в том же направлении, что и они. Донна Изабель даже слышала несколько раз свое имя, произнесенное и почтительно, и восторженно.

Поднявшись с постели сегодня необычно рано для себя, донна Изабель затерзала прислугу множеством распоряжений. Впервые за многие годы попеняла старику дворецкому за якобы запустение в своих роскошных покоях и раздраженно закончила: «проследите, чтобы нигде ни

пылилки...» Впервые на весь день отослала пажа. Узнав распорядок праздника, долго колебалась: поехать в карете – в самый крайний срок, или отправиться пешком, пораньше, но разумеется, не рано. Наконец, склонилась к второму варианту. И, как оказалось, правильно поступила.

Несколько раз по неслышной подсказке ангела-хранителя замедляя шаги, донна Изабель в конце пути облегченно улыбнулась на подходе к портовой площади стояли кареты и среди прочих – герцогская. Значит, как хотела, пришла последней! Герцог, видимо, подъехал совсем недавно – показался недалеко впереди, шел медленно, приволакивая по-стариковски ноги. Донна Изабель не утерпела – прибавила шагу и, потупя скромно взор, обогнала бывшего своего любовника легкой, прямо таки порхающей молодой походкой. Занимая на помосте почетное – даже более почетное, чем ожидала, место, она ловила на себе многозначительные взгляды...

Солнце только-только поднялось над вычурными кровлями дворцов и соборов, а все уже были готовы к началу праздничного действия: на обширном в полтора локтя высотой помосте расположилась стоя городская знать, в центре помоста на коротком и высотой в пол-локтя возвышении стояли герцог, архиепископ и старший алькальд, причем между последним и архиепископом зияло, казалось, магическое пространство – место, как все, конечно, догадывались, для Великого Конкистадора. Остальные горожане, куда более веселые и шумные, чем их верхи, запрудили всю площадь, оставив свободным лишь небольшой участок у схода с причала. Да и этот пятачок что ни миг уменьшался...

Быстро усилившийся слитный гул сотен голосов возвестил о начале действия, хотя лишь столпы города и стоящие ближе к берегу горожане могли видеть, как выбрав якоря, пошли гуськом к пришвартованной вчера каравелле семь остальных, с каким умением и четкостью встали они борт в борт, как сноровисто взлетали, ловились и крепились канаты и образовывалась плотная, чуть вразнобой покачивающаяся сцепка судов...

И вот знать на помосте и впервые ряды простых горожан увидели, как на второй каравелле из трюма на палубу вывели могучего, слоноподобного, уже оседланного коня, вывели шесть конюхов, по три с каждого бока.

И одновременно начался сход на берегу загадочных, прокаленным чужим солнцем, солдат Великого Конкистадора. Чем больше их сходило, тем м сдержанней переговаривалась знать на помосте, тем реже слышались приветственные выкрики и из огромной толпы простых горожан. Солдаты сходили – как на совершенно пустой берег, где нет никого и ничего, способного вызвать любопытство, задержать на себе взгляд. Лица солдат были отчужденно неподвижны, глаза холодно пусты. Мертвецы да и только! Впору сострадательной ладонью опустить им веки и придать как христиан земле... Однако эти с виду неживые солдаты как раз – словно с неживой, словно с скопищем теней – обращались с брызжущей жизнью толпой.

Оттесняли немо, не глядя. И также немо сами выстраивались на берегу.

И когда мрачные ряды облаченных в грубо выделанную бычью кожу и задымленное железо солдат почти уткнулись в яркие шелка и парчу городской знати и между этими странными, бессловесными солдатами образовался, будто сам собою, прямой коридор от причала к центру помоста, тогда знать и первые ряды горожан увидели, как к могучему коню подошел тот, в ком они все угадали прославленного земляка.

Высокий, широкий хищно сутуловатый, он спокойно поднялся на чудовищного коня. Ему подали пояс с двумя большими мечами в черных ножнах, он опоясался и, когда его конь,

приседая на задние ноги, спускался по прогибающимся сходнями на пирс, всем наблюдавшим врезались в память угрожающе торчащие по бокам тяжелые рукояти...

Едва слоноподобный конь Великого Конкистадора ступил на пирс, в толпе тут и там громко догадались: «Вот почему укрепляли настил! Чтобы выдержал этого коня!». И тут же начала твориться легенда: «Настил прогибается, стонет аж, слышите?!» «А свай, свай-то погружаются...» «Точно, погружаются. Видишь?!» «Упаси Бог, доска трухлявая попадетсЯ...»

Но вот Великий Конкистадор вполне благополучно оставил за собой причал. Он пустил коня неторопливым прогулочным шагом и бесстрастный, как изваяние, проплывал над рядами задымленных шлемов своих солдат.

Неотрывно, во все глаза следившие за своим кумиром земляки нежданно ощутили холод и неуют. Ощущения странные в начале солнечного жаркого дня, в родном городе, в праздничном столпотворении...

Меж тем кумир приблизился к помосту и в воцарившейся тишине натянул поводья.

Теперь столпам города и их окружению можно было хорошо рассмотреть виновника торжеств. Он сидел на своем, внушающем восхищение и страх огромном коне каменно-спокойно и казалось, столь же каменно равнодушный ко всему вокруг. В шлеме и кирасе поверх старого кожного камзола. Глаза тусклые, цвета золы. Усы подковой, очень коротко подстриженные, как и борода.

На щеках продолговатые, наклонные к подбородку впадины. Однако шея мощная, словно колонна...

И ему, дорогому и славному гостю, предоставилась возможность – хотя и сидя, однако ж высоко – разглядеть встречающих знатных особ: герцога, сановитого, холеного, все еще помужски привлекательного, правда, лишку припудрившего красноватые прожилки на щеках, и архиепископа, круглоглазого и крючконосого, похожего на филина, и старшего алькальда, в почетных сединах и морщинах, как бы посеченного, но не утихомиреного долгими годами забот, пронизательного старика, который в обуявшем вдруг недобром предчувствии вцепился в свою витую трость...

Впрочем, по намеченному распорядку торжеств прославленному гостю на разглядывание встречающих отводилось времени совсем ничего: соскочив с края помоста к чудовищному коню отважно подступили два молодых, фазанисто франтоватых кабальеро. Они не столь почтительно, как им вменялось, сколь по молодости задорно приветствовали Великого Конкистадора и просили его оказать честь родному городу, заняв место на возвышении рядом с архиепископом.

Но оказалось, что для славного земляка звонкие голоса кабальеро, вроде криков чаек: они, конечно, слышны, но ничуть не касаются человека. Тусклый взгляд гостя с ровной медлительностью продолжал скользить по лицам знати и вдруг приостановился. Приостановился на сияющих, прекрасных, как и двадцать лет назад, глазах поверх дорогого веера. Заметил ли кто, как дрогнули, словно пытаясь стряхнуть слой золы, зрачки?

Донна Изабель повела веером и открылась лучезарная улыбка, трогательно-беззащитная и лукаво-горделивая одновременно. И в безжалостном свете солнца от этой улыбки по белому

лицу, как от легкого удара по фарфору, побежали трещинки. Изабель еще опустила веер и открылась шейка, напоминающая черепашью...

Тусклый, цвета давно остывшей золы взгляд скользнул в сторону, снова – на герцога, недоуменно выпятившего нижнюю губу и помаргивающего, на архиепископа, лицо и шея которого что ни миг лиловели, на старшего алькальда, щеки которого, напротив, становились белее обрамлявших их седин...

А два молодых нарядных кабальеро затравленно поглядывались-поглядывались, потом, краснея, повторили приветствие уже не с задором, а с явственной, почти детской обидой. И снова славный земляк отнесся к их голосам, словно к крикам чаек. Его взгляд, частично утративший свою тусклость, был теперь устремлен вверх голов знати вдаль, где волнистым темно-зеленым контуром вдавались в небосклон купы герцогского сада, и еще дальше, направо, где в сиреневой дымке чернел скалистый мыс...

Герцог помаргивал все чаще, архиепископа вот-вот должен был хватить апоплексический удар, старший алькальд так сжимал трость, что костяшки пальцев белели, будто присыпанные снегом. На лицах близ стоящей знати читалась растерянность, недоумение, обида и опасливость. Лишь на лице донны Изабель застыла чуть вопросительная полуулыбка...

Но вот Великий Конкистадор шевельнул поводом, и его огромный конь медленно повернулся боком к помосту.

Тотчас солдаты задвигались и без слышимых команд начали выстраиваться по-иному, так же немо и решительно оттесняя горожан. Но на этот раз не обошлось без помех. То вдруг раздались радостные возгласы: «Мигель! Смотрите, наш Мигель! Мигель, мы здесь!», видимо, кто-то из толпы узнал еще одного земляка, но, видимо, земляк не выказывал ответной радости, и возгласы оборвались. Но вдруг в равномерном перемещении солдат произошла заминка, которой предшествовал хриплый крик «Я узнал его! Узнал!»

Но вот солдаты снова застыли, и перед конем их предводителя образовался новый коридор, уводящий среди оттесненных вправо и влево горожан за территорию порта, на пустынный берег. По-прежнему безмолвный, Великий Конкистадор двинулся по этому коридору. Солдаты, смыкая ряды, последовали за ним.

На помосте зашевелились, задвигались, скупно, почему-то вполголоса переговаривались. Лишь старший алькальд, уже не мертвенно-бледный, а побагровевший, принялся с неожиданной запальчивостью выкрикивать:

- Когда он сказал, что достаточно встречи на берегу, я подумал – да и кто бы подумал иначе? – что ему подавая почитание всего народа, вплоть до последних нищих! Хорошо, решил я, - да и другие решили, не так ли?! – раз он этого так жаждет, пусть, начнем здесь, продолжим, как намеревались... Кто же мог предвидеть, что он... что он...такое...такой!

Так крикливо, горячо и несвязно оправдывался маститый чиновник, но ни нахмурившийся герцог, ни бормочущий угрозы архиепископ не слушали старика – покидали помост, стараясь не встречаться взглядами. А большинство из их окружения, казалось, не смогли уразуметь: кто это – он?, о ком так распинается старик?

Бросали на старшего алькальда косые недовольные взгляды и спешили разойтись – как после общего, неинтересного, хотя и обязательного ритуала. И среди пасмурности торопящихся восвояси знатных особ бросалась в глаза непонятная, будто приклеенная полуулыбка на лице красивой легконогой сеньоры...

Площадь опустела быстро. Какое-то время на краю ее, на недавнем пути солдат Великого Конкистадора топталась небольшая толпа, но подошли алькальды, распорядились, двое крепких мужчин подняли чье-то тело, понесли, и толпа, сопровождая их, покинула площадь.

Покинула без охов и причитаний: мертвым, а верней, убитым, с проломленной головой оказался старый одинокий, давно спившийся моряк...

Все жители города – богатые в меньшей степени, бедные в большей – почувствовали себя в этот день обокраденными. Но того, кто лишил их праздника, вором никто не называл. Но и Великим Конкистадором не называл теперь никто. Его теперь называли, будто с легкой руки старшего алькальда, - он. И после этого местоимения выстраивались несчетные вопросительные знаки. Почему – он? Как мог – он? И кто по сути – он?

Нет, не обида была самым сильным чувством, оставленным в душах горожан несправа, вопреки чаяниям, встречей, самым сильным чувством было - удивление.

И еще больше удивились бы они, если бы знали, где и как провел вторую половину дня их славный земляк.

Столь странно поведшее себя по возвращению на родину воинство разбило лагерь на берегу, недалеко о герцогского сада. И едва сойдя с коня, предводитель сказал, н к кому персонально не обращаясь, ни на кого не глядя (почему вообще был уверен, что кто-то рядом?):

- Меня не сопровождать. И – в отдаленье! Не искать. И – когда начнет смеркаться.

И с этими словами Великий Конкистадор, все так же ни на кого не глядя, прошел мимо уже ставящих походные палатки солдат и, сутулясь больше обычного, приблизился к подступившим почти к самому прибою зарослям, а вскоре и скрылся в них.

Только издали герцогский сад казался однородно зеленым, безмятежно произрастающим. Увы! Вплотную этот сад, точнее... прибрежный участок сада, производил угнетающее впечатление – несуразным, немирным соседством, искривлением и гниением деревьев. За прошедшие двадцать лет деревья плодоносящие, «одомашненные», были затенены, забиты, и вовсе вытеснены дикими собратьями, которые победив как более мощные, именно в результате этого сами теперь пропадали – покрывались лишайниками, сохли и загнивали, поваленные или надломленные штормовыми ветрами. Правда, исключая пинии.

Этим колким красавицам оказалось достаточно слоя плодородной земли, положенного здесь когда-то старым садовником.

Мрачный, пробирался Великий Конкистадор через бурелом. Он обнажил один тяжелый меч и нещадно обрубал загораживающие ему путь ветви. Взмах за взмахом, взмах за взмахом.левой рукой. Как приучил себя в ранней юности: случайную, никем со стороны не наблюдаемую работу делать левой рукой (хотя давно уже слышал вокруг и не опровергал слышимого: у Великого Конкистадора, мол, обе руки – правые).

Вскоре, сориентировавшись по недалеким уже стенам замка, он остановился и внимательно огляделся. Беседки – как не было. И только еще внимательней взглядевшись в окружающие агонизирующие заросли, он понял, что посчитал стволом засохшего дерева увитую плющом единственную уцелевшую колонну беседки. Остальное – замшелые и заваленные сухими сучьями и листвой руины...

Он прошел еще немного к замку и увидел у самой стены ухоженные плодовые деревья и кусты роз. И остановившись вновь здесь, на исходе запущенного одичавшего участка сада, Великий Конкистадор поднял над головой рукоятями вверх оба меча-спата и с силой вонзил их в землю. Вонзил наклонно, так, что они образовали букву, с которой на многих языках начиналось слово «Победа». Отступил на шаг и долго стоял, уставя тусклый взгляд на толстые рукояти. И тень недоумения вдруг промелькнула по угрюмому лицу его...

Солнце только-только начало скатываться к западу, когда он вернул мечи в ножны и пошел обратно. Но через несколько шагов вдруг остановился, прошелся боком, по кругу и вновь обнажил мечи – яростно, с лязгом! И обезумел, впал в неистовство. В долгое страшное неистовство.

Он кромсал без передышки ветви и стволы, одновременно двумя мечами и попеременно, а то, отбросив второй меч, рубил одним как топором – обеими руками. Сбросил с себя шлем, потом кирасу, потом камзол...

Сверкала разящая сталь, падали с обвальным шумом листвы тяжелые ветви, летела белая щепка и едкие брызги пота. И казалось, что силы человека неиссякаемы, и не было конца этому безумству...

И вот конец настал. Великий Конкистадор положил у ног оружие и, неровно ступая по искромсанной древесине, пошел к центру сотворенной им несусветной поляны к тонкому, искривленному сливовому деревцу. Преклонив колено, он погладил слабый ствол подрагивающей от недавнего перенапряжения ладонью. Встал, подобрал камзол и доспехи, облачился в них, вооружился и – дальше, продираясь сквозь бурелом в сторону моря.

Солнце скатилось за деревья одичавшего сада, жара спадала...

Он вышел на берег, вошел в уже обустроенный лагерь и, никому ничего не сказав, ни на кого не взглянув, скрылся в высокой предводительской палатке...

—

А в течение всего следующего дня в военный лагерь на морском берегу невесть откуда кто такие приводили коней – рослых, крупных по всему виду, не шибко быстрых, но страшных в бою. И тогда досужие горожане, вспомнили о немом вахтенном матросе загадочной каравеллы и поняли, что он пытался, как мог, объяснить алькальдам причину исчезновения команды...

—

На третье утро по возвращении на родину Великий Конкистадор во главе своего теперь уже конного отряда выехал на дорогу, ведущую в столицу. При безоблачной безветренной погоде сразу же белая плотная пыль встала за колонной...

В тот же час снялись с якорей, но не развернулись, не ушли в синюю бескрайность, а пошли вдоль берега и вскоре скрылись за скалистым мысом все девять каравелл...

А накануне во дворце донны Изабель произошло вот что. Два солдата вошли и молча стали подниматься по мраморным ступеням. На плече одного желто поблескивал языческий идол. На обращение к ним служанок и самой госпожи, подошедшей к балюстраде с пажом, солдаты никак не реагировали. На их застывших лицах и в холодных змеиных глазах не было и, казалось, не могло быть и проблеска внимания к кому и чему-либо.

И тут вдруг, не успела прекрасная госпожа охнуть, как ее пылкий паж сорвал со стены старинный дротик и метнул в солдата с идолом на плече!

Мгновенным движением тот выставил ношу перед собой и дротик задрожал в жутком зеве, меж прямоугольных оскаленных зубов идола. А долей секундой раньше коротко взмахнул рукой второй солдат, летающей рыбкой проблеснул кинжал, и у ног своей боготворимой госпожи забился с пронзенным горлом бедный паж.

Все так же отчужденно, не замедляя и не убыстряя шага, поднялись солдаты по лестнице, опустили идола к ногам донны Изабель, рядом с затихшим юным безумцем и, не произнося ни слова, повернулись и стали спускаться к выходу – прямые, немые, стылые, как ходячие статуи.

Донная Изабель наклонилась, дернула дротик, потом покачала его и дернула резче, потом ухватила покрепче обеими руками, и так таки выдернула из пасти чудовища. Выдернула и отбросила. Погладила сияющее золото – куцее плечико, подняла глаза на замерших, близких к обмороку служанок, отдернула ладонь и приказала позвать ненужного уже врача...»

Море вновь смолкает. Но человек, сидящий на валуне, на этот раз не проявляет нетерпения. Чувствуется, что он настроен спокойно переждать долгую паузу. Однако третья, последняя пауза оказывается короче предыдущей...

«В те дни хищные птицы, парившие над выжженным солнцем плоскогорьем, с неясной самим заинтересованностью наблюдали, как неуклонно-быстро вытягивались вглубь страны – гораздо медленнее укорачивались, рассеивались со стороны берега – белая плотная полоса...

Это, вздымая пыль и оставляя ее подолгу висеть в безветрии, двигалось воинство Великого Конкистадора. По утренней и вечерней прохладе – рысью, днем – шагом.

На редких привалах в малолюдных тихих селениях солдаты удивляли и настораживали жителей неразговорчивостью, неулыбчивостью, странной замороженностью глаз. Вино они спрашивали не постоянно и, что еще поразительней, оставляли частенько недопитым. В еде были также не по-солдатски умеренными. Для своих же здоровенных коней требовали самого отборного овса, родниковой воды и тщательного ухода. Зато и расплачивались более чем щедро. Казалось, вознеси благодарность Господу за то, что послал таких постояльцев, и моли его, чтобы они задержались у тебя подольше. Ан нет! Хозяева постоянных дворов и харчевень вздыхали

облегченно, глядя на пыль, встающую за удаляющимся воинством. И не раз оказывалось, что облегчение они чувствовали преждевременно. На двух постоянных дворах исчезли молоденькие служанки. Скромный скарб девушек был на месте – значит, не сбежали с солдатами. Куда же он делись, живы ли? Вопросы остались без ответов. А на одном постоялом дворе, в конюшне, хозяин обнаружил пригвожденного к стене вилами своего конюха, глуповатого, но вполне безобидного малого. О подобном зверстве в той местности и старики не слыхивали. Кого же было подозревать, как не пришлых мрачных солдат? Скрыла их пыль – и хорошо, и дай Бог, чтобы навсегда, думали благонравные жители...

А полоса белой плотной пыли все вытягивалась и вытягивалась в сторону столицы.

Там Великого Конкистадора уже ждали, прикидывали срок прибытия, судили-рядили какую желательно организовать ему встречу и во что эта встреча, вопреки желанию, может вылиться. И дабы не попасть впросак, что ни день к Великому Конкистадору посылались гонцы.

Возвращаясь, гонцы доносили однообразно: мол, странное воинство движется по такой-то местности, предводитель весьма малоречив, на любой первый вопрос отвечает: «как того пожелает благословенный наш король», последующие вопросы будто не слышит, отмалчивается, смотрит мимо королевских посланцев своим тусклым взглядом.

Когда царедворцы излагали молодому монарху и излагали горячась, с соответствующими комментариями суть донесений гонцов, тот их выслушивал вежливо, но вполслуха, показывая, что считает возмущение и опасения чрезмерными да малость наскучившими. В то же время от предлагаемых вельможами мер предосторожности король не отмахивался, а снисходительно соглашался, как бы уступая из жалости к старческой немочи: мол, если вас это так тревожит, если вы в панике, то, что ж, так и быть, - действуйте, но что касается меня, вашего короля, то повод для тревоги слишком ничтожен...

Король лицедействовал. Его не то что тревожил, его мучил, подобно занозе, которую никак не удастся извлечь, вопрос: бкто он, Великий Конкистадор? В какой из трех ипостасей пребывает в эти дни: впавший в слабоумие от многих ран и болезней полукалека, запутавшийся в сетях коварных интриганов протак-рубача или враг, опасный, до крайности обнаглевший?

Молодой король хорошо помнил тот проклятый день, ураганный, взывающий вурдалаком ветер за окнами, спотыкающихся на ровном полу, перепуганных слуг и как итог этой зловещей несуранице – доставленную каким-то уродом чертову депешу, где черным по белому было написано, что генерал-губернатор заокеанских владений, он же Великий Конкистадор, по его же – его! – утверждению, возвратился на родину, согласно королевскому велению.

И поскольку он, король, ничего подобного не велел, т, естественно, был несказанно удивлен, однако громогласно свое удивление не выразил: кто знает, вдруг отец перед своей кончиной через какого-нибудь тайного порученца впрямь отозвал Великого Конкистадора, забыв в недопомогании уведомить об этом наследника? Вдруг, кто знает?

И, на всякий случай, он тогда вскользь заметил: был-де разговор с отцом...

А теперь, когда приближающийся что ни день, что ни час к столице полководец в ответ на все вопросы знай твердит, что исполнял, исполняет и намерен впредь исполнять желания король, теперь ясно как божий день, что почивший в бозе старый король не при чем.

Теперь ему, молодому королю, разгадывать шараду: кто он, так называемый Великий Конкистадор – сумасшедший, марионетка или отъявленный злодей?

Первая и вторая ипостаси казались более достоверными, легко объяснимыми. Но, припоминая все когда-либо слышанное о Великом Конкистадоре, король качал головой: нет, уж очень сомнительно, чтобы такой человек вдруг ослабел разумом или подпал под чье-то влияние... Так все-таки – третья ипостась? Хотя трудно поверить...

Что ж, думал молодой король, все готово к пышной, достойной Великого Конкистадора встрече, его заслуга перед святой церковью и тронем никто не умаляет... Но если... Все гостиницы и постоянные дворы, флигели и манежи наводнены дворянами, вызванными под разными предложениями со всех уголков страны. На улицах, говорят, не протолкнуться. А они все прибывают и прибывают, молодые, горячие, пышущие здоровьем и отвагой, полная противоположность солдатам из-за океана – бледным, изнуренным, похожим (все, кто видел их, в один голос утверждают это!) на мертвецов. У них, бедных, все мысли об отдыхе... Сколько у него этих полумертвецов? Несколько сотен. А дворян – тысячи... И есть ведь еще личная охрана короля, шотландцы и швейцарцы, «горные львы», как называл их отец. Правда, получив жалованье на месяц вперед, они из пунцовых стали лиловыми... Представив, как теперь выглядят наемники, король поморщился, но серьезного повода для озабоченности не увидел. Наемники – всего лишь дань моде среди европейских монархов. В стране своих храбрецов более чем достаточно...

«Однако как медленно движется со своим воинством этот конкистадор, - досадливо и не впервые думал король. Скорей бы уж пожаловал. Заждались!».

И вот настал тот день, когда сумрачный исполинский всадник, а за ним безмолвная, казавшаяся в клубящейся пыли бесконечной колонна вступили в предместья столицы. Толпы народа, в основном бряцающие оружием, громогласные дворяне и их слуги, хлынули со всех сторон к избранной улице и запрудили обочины. И – как рукой сняло возбуждение, блеск глаз, румянец щек.

Толпы в считанные минуты мертвели. Мужчины вдруг сознавали, что их лихие усы и банты, шпаги и аркебузы – вроде яркого оперения птиц-самцов и было бы ох как хорошо, если бы на виду у появившихся безжалостных охотников это оперение быстро потускнело, слиняло! Женщины же каждой порой ощущали угрозу своим очагам, чадам, чаяниям. И женщины понимали, что ни возлюбленные их, ни братья, ни отцы не в силах отвести эту угрозу, куда им, вон застыли ни живы ни мертвы. И женщины истово не шепотом молились, лишь те из них, у кого сыновья или внуки были подростками-сорванцами, вцепились в своих отчаянных отпрысков – не оторвать.

Так, сопровождаемая молитвами, вздымая столичную, уже серую пыль двигалась к королевскому дворцу эта колонна: впереди на огромном коне тускоглазый, страшный, как ад, Великий Конкистадор, а за ним на могучих рослых конях по шесть в ряд его солдаты – такие же сумрачные с холодными змеиными глазами убийц.

Наконец, давно ожидаемо, но почему-то совершенно вдруг, бросив в дрожь и куриные пупырышки по коже, протрубили герольды – колонна вступила на королевскую площадь, заполонила, немо и быстро перестраиваясь, все ее пространство, и в пяти шагах от входа во дворец предводитель остановил своего слоноподобного коня.

Два седовласых гранда - в бархате, драгоценных камнях и золоте – высокопарно приветствовали Великого Конкистадора и объявили, что король ждет его. И так же, как неделю назад в родном городе, он не обратил никакого внимания на приветствовавших его.

Слегка вскинув голову, он воззрился на одно из окон. Будто видел там короля, стоящего там за портьерой.

Молодой король не был обделен ни умом, ни мужеством. Поэтому он не мог не осознать наконец роковой для себя реальности. Ведь все эти заполнившие дворец и столицу вояки – куклы! Раскрашенные, набитые трухой куклы! Всех же дерзких, упрямых, сильных духом и телом, всех железных вытянула из страны, подобно магниту, конкиста! И самых закаленных из них, самых беспощадных привел сюда тот, кого называли Великим Конкистадором. Вот он уставился своим свинцовым взглядом, с обманчивой вялостью могучего хищника опустив руки на тяжелые рукояти мечей. И что эти два безмозглых павлина дергаются перед его чудовищным конем? Сейчас он подаст знак и...

Такие мысли должны были пронестись в тот час в красивой голове молодого короля, а какие – под шлемом Великого Конкистадора?

Может, он вспомнил свою безответную любовь? Или друзей, обретенных на чужбине и там же погребенных, ради вящей роскоши этого дворца? А может, он представлял озера крови здесь, в столице своей родины, такие же красные и липкие озера, как и в чуждых заокеанских селениях? Или своих соратников в дворцовых покоях, с годами тучнеющих, с маслицем блуда и огоньком алчности в глазах? Или кубок с отравой у своих губ?

—

О многом потом расскажет Великий Конкистадор, но только не о своих мыслях в тот час.

—

Между тем, несчастные гранды уже в третий раз принялись приветствовать гостя, да только у одного половина слов будто провалилась в пищевод, второй же прижал левую руку к груди, а правой нашаривал в воздухе опору. И тут старики увидели, как раздвинулись жесткие темные губы, скупно выдавив слова:

- Передайте королю. Я победил. Себя.

Великий Конкистадор шевельнул повод, и его огромный конь повернулся боком к дворцу.

И пока последние ряды припорошенных пылью сумрачных всадников не скрылись за поворотом, лишь глухой стук копыт слышался в округе.

Зато какой гвалт начался потом!

НИ до, ни после стены дворца не слышали и десятой доли оскорблений, проклятий и угроз! Некоторые доблестные мужи даже сорвали голоса, и, пятная свою высокородность, яростно шипели...

Лишь молодой король молчал, мрачней. А к вечеру замолчали и придворные.

В столице на третий день также стихли пересуды о необычном событии. Если же кто спьяну или по глупости произносил пусть даже не «Великий Конкистадор», а всего-навсего «большой конь», бедолагу тут же хватили и волокли в инквизиторский застенок. Дабы каленым железом выжечь богомерзкую ересь! Ибо НЕ БЫЛО никакого Великого Конкистадора. Как не было и унижения.

И сегодня историки, перечислив, начиная от Бальбоа, Кортеса и Писарро, всех конкистадоров, подтвердят: «Не было ни Великого Конкистадора, ни огромного коня, ни двух мечей ни всего такого-прочего...»

Но в те первые дни и месяцы после ухода странного воинства из столиц, люди, прикусив языки, не уставали думать-гадать: «Куда же направился Великий Конкистадор, где он, что с ним и его солдатами стало?» Со временем выявились и люди осведомленные.

«Великий Конкистадор, - сообщали некоторые шепотом, - погрузился со всеми своими солдатами опять на каравеллы и только вышел в открытое море, как разыгралась небывалая гроза. Самого Великого Конкистадора поразила молния, большинство каравелл затонули, уцелевшие вернулись в Новый Свет...» «Неправда, - еще тише шептали другие, - не было молнии, а всплыл Левиафан, и проглотил флагманскую каравеллу целиком, с огромным конем, Великим Конкистадором, солдатами и командой...»

Много домыслов, один фантастичнее другого, нашептывали о Великом Конкистадоре...

И только я, Море, знало о дальнем берегу, на котором с каждым годом разрастался чудесный сад. И крепкий старый садовник, с обветренным, в резких морщинах лицом, но с ясными будто свежепромытыми родниковой водой глазами, притомившись, выходил к самой кромке прибоя и садился на валун. Только тогда я, Море, слушало и молчало. А он говорил, говорил...

Человек поднимается с валуна, глухо произносит: «Спасибо за предупреждение», поворачивается и широко шагая, удаляется в сторону порта – высокий, сутуловатый, в наклоне головы не очень-то и поубавилось гордыни.